*Смерть немецким оккупантам!*

В101 / 546

К. СИМОНОВ

# БОЙ НА ОКРАИНЕ

Воениздат НКО СССР—1942

22 экз.


Государств. публ. историческая библиотека
755522

За спиной — Сталинград. Это чувствуется не только потому, что видишь позади контуры города, крыши домов, заводские трубы. Эти слова в самом воздухе боя, в выражении лиц всех людей, которых встречаешь здесь, на передовых позициях. На их лица легло выражение какой-то особой твердости и упрямства. Губы плотно сжаты. В усталых, красных от бессонницы глазах возбужденный блеск.

Командир батальона старший лейтенант Вадим Яковлевич Ткаленко, на первый взгляд, чем-то неуловимо напоминает Чапаева. Может быть, это сходство вызывают светлые, пшеничные, завивающиеся кверху усы, такие же светлые, пристальные глаза и надетая слегка набекрень пилотка на русых волосах. Словом, он чем-то очень похож на Чапаева — такого, к какому мы привыкли в кино. И только когда Ткаленко выходит из блиндажа и вытягивается во весь рост в тесном ходе сообщения, вдруг по его почти мальчишеской худобе, по угловатым движениям замечаешь, что он еще очень молод и что его усы — это скорей юношеская прихоть, чем неотъемлемая принадлежность старого солдата.

В101/546

Ткаленко исполнилось всего 23 года, и его молодость чувствуется в походке, в движениях, в фигуре, но в глазах ее не осталось. У старшего лейтенанта пристальные, твердые, беспощадные глаза человека, прожившего за год войны десять лет и десять жизней. Пристальными их сделал опыт, твердыми — привычка к опасности и беспощадными — народное горе.

Осенью прошлого года Ткаленко одно время носил не только усы, но и бороду. Тогда, возглавляя группу разведчиков, он работал по тылам врага. Совершал налеты на штабы, держал связь с партизанами. Однажды — это было недалеко от Умани, в селе Христиновка,—готовясь к налету на немецкий штаб, он переодетым замешался в толпу крестьян и стал невольным свидетелем того, что ему не удастся позабыть до последнего дня своей жизни.

В селе работал немецкий карательный отряд. Он искал командира партизанского отряда — «дядю Ваню». Дядя Ваня был родом из этого села. Ткаленко стоял в толпе рядом с одним из партизан дяди Вани. Немцам было точно известно, что дядя Ваня где-то здесь, поблизости. Сначала они взяли его отца — дряхлого старика и после тщетного допроса, обвязав двумя канатами — одним подмышки, другим за ноги — разорвали его между двух танкеток. Согнанный на улицу народ угрюмо молчал.

Тогда немцы стали подходить поочередно то к одной, то к другой женщине и, вырывая из их

рук детей, спрашивали: «Где дядя Ваня?» Женщины молчали.

Немцы одного за другим отводили детей в сторону. И когда их набралось больше двух десятков, они всей гурьбой обхватили их канатом, завели танк и под общий замирающий стон нечеловеческого ужаса раздавили детей. Всех вместе. Танком.

В эту секунду Ткаленко, у которого в кармане была граната, опустил руку в карман и выхватил ее. Но чьи-то тяжелые пальцы сдавили его руку, и партизан, стоявший рядом с Ткаленко, почти неслышно сказал ему в самое ухо тихим задыхающимся шопотом:

— Там и мой один, а я же стою, смотрю.

И он, разжав пальцы, отпустил руку Ткаленко. Ткаленко не бросил гранаты. Он бросил ее ночью вместе со многими другими, когда они громили штаб карательного отряда.

С тех пор он видел еще много народного горя. Кажется, гораздо больше, чем может выдержать сердце юноши и даже закаленное сердце солдата. Но этот день, канат, обвязавший детей, молчащая сельская площадь и общий тихий вздох ужаса заслонили в его сознании все, что он видел потом, после этого.

С тех пор, когда ему говорили — «немцы», он видел эту площадь. Когда ему говорили итти в атаку,— он видел эту площадь. Она навсегда осталась в его глазах, и все, что он видел с тех пор, все бои, все дни и ночи, все победы и пора-

жения, — все он видел как бы сквозь эту площадь. Его 23-летние глаза стали беспощадными, в них больше не светилось молодости, в них застыла ненависть. С этих пор только ее яростный огонь освещал его глаза.

Ткаленко тяжело ранили зимой, и всю весну он пролежал в госпитале. Он почти умирал. Была какая-то минута тишины в белой больничной палате, когда ему вдруг показалось, что войны нет и хорошо, что он вот так тихо лежит и ему не нужно двигать ни ногой, ни рукой, что все совершается где-то там помимо него. Должно быть, именно в эту минуту в его израненном теле решался вопрос: выживет он или умрет. Но в следующую минуту острая боль в простреленном двумя пулями легком заставила его застонать. Он запекшимися губами спросил врача, выживет ли он и не будет ли калекой. И врач с солдатской прямотой ответил ему:

— Если, — на «если» он сделал паузу, — если вы выживете, то не будете калекой.

И Ткаленко понял, что минута спокойствия и равнодушия родилась у него от того, что он поверил в свою смерть. Но теперь он в нее не верил, он хотел жить. Он яростно с хрипом дышал своими изорванными легкими. Он хотел жить дальше, жить во что бы то ни стало, чтобы и дальше так же убивать немцев, как он их убивал до сих пор.

После госпиталя он попал в новую, только еще формировавшуюся часть. Он нетерпеливо

лечился для того, чтобы скорей вновь убивать немцев, но он был дисциплинированным солдатом. Не сумев сразу попасть на фронт, он и в этой пока еще тыловой части нашел применение своей ненависти: учил ей других, воспитывал ее в своих бойцах. Ткаленко учил своих бойцов убивать как можно умнее, хитрее и изворотливее.

Этот день, которого он ждал с холодным спокойствием человека, удел которого отныне — война и только война, настал под Сталинградом. Ткаленко было горько, что, попав зимой в госпиталь из-под Ростова, теперь, летом, он должен был вступать в бой под Сталинградом. Но это чувство, охватившее его во время переправы с левого на правый берег Волги, превратилось в самом Сталинграде при виде горящих домов, бредущих по улицам бездомных женщин и детей в знакомое холодное чувство ненависти к немцам.

День был тяжелым. N стрелковой части пришлось вступать в соприкосновение с противником по-батальонно, и первым был брошен в бой только что переправившийся батальон Ткаленко. Это было на рассвете на северной окраине города. Вечером немцы заняли деревню, примыкавшую к окраине, и утром, видимо, собирались двигаться дальше. Батальон должен был с хода развернуться и выбить немцев обратно на север.

Предстояла кровопролитная атака. Но Ткаленко, по собственному опыту зная, как тяжело на-

чинать свою военную жизнь с отступления, был рад, что его бойцам придется начать ее с атаки. Дотянуться до немца штыком, увидеть его убитого у себя под ногами, переступить через его еще не остывший труп — вот что дает силы, вот что в первом бою больше всего на свете нужно бойцу.

Атака началась на рассвете. Лощина перед деревней была заминирована противотанковыми минами, и несколько танков, поддерживающих батальон, стреляли с места, не рискуя двинуться раньше сапер. Пехота пошла одна. Через 300 метров она встретила полосу минометного огня.

Приходилось подниматься в гору, и Ткаленко, идя с батальоном, вдруг с горечью почувствовал, что ранения не обошлись ему даром. Он дышал только одним легким, и в гору итти было тяжело. Только благодаря тому, что он по долгому опыту делал все расчетливо и точно и не ложился лишний раз при недолетах и перелетах, как это делали его еще не обстрелянные бойцы,— только благодаря этому он и теперь шел так, как привык, — одним из первых. Люди рядом с ним шли хорошо, даже лучше, чем он ожидал. Они, правда, часто ложились, но зато их не приходилось поднимать. Они сами быстро вскакивали и снова шли вперед.

На выходе из лощины немцы встретили батальон пулеметным огнем. Но первые дома были уже близко, и через несколько минут на окраинах деревенской улицы завязался рукопашный

бой. Автоматчики стреляли из домов, из подворотен, из-за заборов. Одного из них, высунувшегося из-за крайнего дома, Ткаленко почти в упор убил сам короткой очередью из автомата. Здесь, у крайнего дома, он остановился. Он сделал со своим батальоном тот самый первый, самый страшный прыжок в первом бою, когда нужно пройти грудью вперед открытые 300 метров, прежде чем дорваться до немца. Теперь люди вошли в азарт боя.

У крайнего дома Ткаленко, окинув взглядом местность, спокойно стал отдавать очередные приказания. Саперы разминировали два прохода для танков. Четыре танка перевалили через лощину и, войдя в деревню, открыли огонь вдоль улицы. Бой продолжался во всем своем ожесточении.

Вдруг наискось от Ткаленко вдоль забора промелькнула согнутая фигура.

— Стой!

Человек остановился в двух шагах от Ткаленко. Он был без пилотки и винтовки, только на поясе у него висела еще не отцепленная сумка с гранатами. Это был беглец с поля боя, первый сегодня, и, слава богу, единственный. Короткое мгновение, последовавшее за окликом «стой», Ткаленко употребил на то, чтобы взглянуть в его лицо и постараться вспомнить его фамилию, но он не мог вспомнить его фамилии, не мог потому, что черты лица труса были искажены до неузнаваемости, причем их исказил не



86

столько страх, сколько суетливое, отвратительное выражение озабоченности своей судьбой. Он шарил своими бегающими глазами по земле, казалось, ища в ней отверстия, в котором можно исчезнуть.

— Куда?— холодно спросил Ткаленко, перехватывая в руке автомат.

Но тот ничего не ответил, а только, низко пригнувшись, пытался пробежать мимо старшего лейтенанта. Ткаленко, не вскидывая автомата, коротким движением довел его, — и беглец, согнувшись, упал, скользнув пальцами по стене дома. Ткаленко на секунду оглянулся на него и потом так же спокойно, как начал, продолжал отдавать приказания стоявшему рядом саперу. В эту минуту ему было тяжело, потому что он только что убил человека, который, если бы он не оказался трусом, сам должен был убивать немцев.

Но Ткаленко не хотел показать, что ему тяжело, — ни саперу, ни кому бы то ни было другому. Он не хотел обнаруживать своих чувств. Он хотел, чтобы по его спокойствию люди поняли то, что он думал сам: этого труса убил не он, Ткаленко, а закон, беспощадный закон войны.

К полудню деревня была занята. Теперь Ткаленко со своим связным перешел на ее дальнюю, северную окраину. Деревня была взята, но, чтобы удержать ее, следовало теперь же занять

лежавшие за километр впереди нее небольшие высотки.

Ткаленко остался с третьей ротой в деревне, а вперед отправил командира второй роты, маленького, расторопного Кашкина и командира первой роты, веселого здоровяка Бондаренко, прозванного в батальоне «декабристом» за густые, черные, заботливо выращенные бакенбарды. Они быстро двинулись со своими ротами вперед, легко преодолевая редкий огонь несколько растерявшихся после первого удара немцев. Через два часа связные донесли Ткаленко, что Бондаренко у обрыва над Волгой захватил четыре немецкие автоматические пушки. Ткаленко был доволен результатами боя, но опыт подсказывал ему, что немцы на этом не успокоятся.

Он приказал срочно перетащить через овраг, теперь оказавшийся позади, две оставшиеся в тылу противотанковые пушки. Недавно прошел дождь. Скаты оврага были крутыми и скользкими. Пушки нужно было сначала спустить в овраг на руках, а потом, так же на руках, поднять. Артиллеристы медленно, осторожно начали спускать пушки.

Было около пяти часов. Внезапно в лощине, пролегавшей между занятой деревней и высотами, на которых засели первая и вторая роты, показалось 15 тяжелых немецких танков. Батальон вступил в бой прямо с марша, и в его распоряжении еще почти не было ни противотанковых гранат, ни ружей. И в этом была вся

сложность положения. На танках ехали десанты. Одновременно с их появлением немцы открыли огонь из дальнобойных минометов, и вся площадь расположения двух передовых рот была засыпана минами. Два противотанковых ружья сержантов Ройстмана и Чебоксарова открыли огонь по танкам. Два танка загорелись, но остальные прошли вперед, раздавив гусеницами противотанковые расчеты. Через четверть часа еще два танка загорелись, взорванные связками гранат. Остальные танки с грохотом утюжили поле боя, стараясь раздавить пехоту. Соскочившие автоматчики пошли в контратаку. И чем дальше, тем труднее было задерживать их огнем, потому что танки не давали поднять голову от земли.

Сзади первой роты был обрыв, спускавшийся из степи к Волге, а впереди танки. Именно это имел в виду лейтенант Бондаренко, когда он, показав рукой сначала вперед, а потом назад, хрипло сказал лежавшим рядом с ним бойцам:

— Или биться или полечь. Все.

Ткаленко видел все происходившее. Две роты были отрезаны от него, их положение становилось угрожающим. Первым его душевным движением было сейчас же пойти самому туда, где умирали его люди, но в следующую минуту он хладнокровно решил, что их спасение заключалось не в этом. Оно было в пушках, а пушки все еще вытаскивали на скользкий откос. Прервав наблюдение за полем боя, Ткаленко сам

занялся их подъемом. Он делал это, как и все, что он делал, без лишней торопливости и суеты, и поэтому подъем сразу пошел быстрее. Наконец, пушки подняли. Было некогда отыскивать им другие позиции, и они открыли огонь прямо с откоса, оттуда, куда их подняли. В эту минуту танки двигались боком к ним, и сразу же два из них были подбиты. Это и стало переломной минутой боя. Танков осталось девять из пятнадцати, к тому же начало темнеть, и оставшиеся танки, очевидно, не рискуя пойти в лоб на пушки, повернули и стали выходить из боя. Автоматчики начали отступать вслед за ними. В темноте с ними шел бой всю ночь до утра, пока последние из них, оставшиеся в живых, не отошли за гряду холмов.

Утром хоронили убитых. Батальон понес потери, и Ткаленко был сумрачен. Его удручало число убитых. Нельзя сказать, чтобы это было для него неожиданным, он готовил к этому и себя, и своих людей, и в конце концов убитых немцев было почти вдвое больше. Да, может быть, в начале войны он помирился бы с этим — два убитых немца на одного нашего. Но сейчас, на втором году войны, после стольких страданий и несчастий, — результат боя казался ему тягостным. После всего того, что делали немцы на нашей земле, они должны были платить не двумя, а четырьмя, пятью, десятью смертями за каждую нашу смерть. Но во вчерашнем бою этого не удалось достигнуть, и он был сумрачен.

В таком настроении я и застал его днем. Были часы относительного затишья, и когда я зашел к нему, он молча сидел, задумавшись, в своем блиндаже. Все время, пока он рассказывал о своей жизни, я тщательно ловил на его лице хотя бы подобие улыбки. Потом мы вышли наружу, на солнце. Я посмотрел на его лицо и подумал, что, может быть, усы придают ему выражение такой несвойственной его годам серьезности. Я сказал ему:

— Усы сбрить не собираетесь?

И тут он улыбнулся в первый раз, грустно и застенчиво.

— Вы знаете, я не могу, — ответил он. — Я дал зарок. Когда мы в последний раз в прошлом году ходили в разведку в тыл, четверо на обратном пути погибли — трое на месте, а четвертый, Хоменко, умер у меня на руках, когда я дотащил его до наших. И когда мы двое, оставшиеся в живых, похоронили его, шестой из нас, грузин Самхарадзе, сказал мне: «Знаешь что, лейтенант, давай им на память бороды сбреем, а усы оставим до конца войны, пока за них драться будем». Вот каким образом получился зарок.

И Ткаленко во второй раз улыбнулся своей застенчивой и грустной улыбкой.

— А вот и Бондаренко. Вы хотели пойти к нему в роту? Вот он сам.

К нам подошел рослый, краснощекий «декабрист» Бондаренко. Видимо, он хотел придать

бакенбардами суровость своему веселому, круглому лицу. Это ему плохо удавалось, но зато голос у него был басовитый, зычный, совсем как у старого солдата.

Мы простились с Ткаленко, и Бондаренко повел меня в свою роту. Он хозяйственно показывал мне ее расположение, блиндажи, окопы, хитро устроенный наблюдательный пункт, с которого были отлично видны проходившие в 600 метрах отсюда немецкие позиции. По всему чувствовалось, что этот человек со своей ротой прочно зацепился за землю и меньше всего собирается с нее уходить.

Потом мы прошли с ним и спустились вниз, под крутой волжский обрыв. Женщины, дети и старики из сожженных деревень ютились здесь на берегу Волги, под обрывом, в пещерах. Кругом слышался плач детей, и смертельно усталые глаза женщин провожали нас долгим, просящим взглядом.

Я повернулся к Бондаренко, и вдруг на его круглом, только что веселом лице прочел то же выражение застывшей, неискоренимой ненависти, какое я читал на лице его комбата.

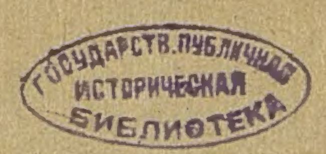
— Сволочи, до чего довели, — сказал Бондаренко. — Вы подумайте только, до чего людей довели...

Да, есть предел, за которым кончается человеческое терпение, за которым из всех чувств остается только одно — ненависть к врагу, и из

всех желаний остается только одно желание — убить его. Все те, кто был в Сталинграде в эти дни и видел все, что здесь происходит, уже перешагнули этот предел вместе с Ткаленко, вместе с Бондаренко, — вместе со всеми защитниками Сталинграда.

---

В 101/546




Редактор *Е. Р. Рамм*

Г254404. Подписано к печати 19.9.42.
Объем $^1/_2$ п. л. 44 640 тип. зн. в 1 п. л. Зак. 690.

1-я тип. Военнздата НКО СССР
имени С. К. Тимошенко

Цена 5 коп.

12531